В. Д. ГОЛОВЧИНЕР

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОЗЫ 50—60-х ГОДОВ XVIII ВЕКА

(Роман аббата Прево «Приключения Маркиза Г***, или Жизнь благородного человека, оставившего свет», в переводе И. П. Елагина и В. И. Лукина)

Творческая деятельность В. И. Лукина относится главным образом к 60-м годам XVIII века. Это было время некоторого общественного подъема в России, в котором отразились оппозиционность крепостного крестьянства и неудовлетворенность значительной группы передового дворянства социально-политическими порядками в стране. Какая-то часть недворянского, разночинного общества также была увлечена прогрессивными идеями века и стала критически относиться к полной противоречий русской действительности.

В истории молодой русской литературы 60-е годы XVIII века представляют собой переломный момент, ознаменованный выступлениями против устаревших канонов классицизма, стремлением отразить в художественных произведениях «лицы», а не «человека вообще».

Заметнее всего проявилась эта тенденция в драматургии, обычно более чутко реагирующей на изменения, происходящие в обществе.

В 60-е годы излюбленным видом драматического искусства становятся буржуазно-мещанские, дидактические комедии, а затем и «слезные» драмы (drames larmoyantes), которые не только ставились в Петербурге французской труппой Сериньи, но и переводились на русский язык.

Именно в эти годы русская публика знакомится с пьесами Ж. Ж. Руссо («Обворожительный пояс» — перевод Ал. Волкова, 1759), Гольберга («Плутус, или Спор между бедностью и бо-

гатством» — перевод А. Нартова, 1765; «Jean de France» — «преложение» И. Елагина, 1764), Дидро («Чадолюбивый отец» — перевод С. Глебова, 1765; «Побочный сын, или Опыт добродетели» — перевод С. Глебова, 1766), Лилло («Лондонский купец» — перевод А. Нартова, 1764), Лессинга («Молодой ученой» — перевод А. Нартова, 1765), Детуша («Привидение с барабаном, или Пророчествующий Женатой» — перевод А. Нартова, 1764), Грессе (драма «Сидней» — перевод Д. И. Фонвизина под названием «Корион», 1764).[1]

В распространении в России пьес нового направления, названных Вольтером «незаконнорожденными» (pièces bâtardes), большую роль сыграл кружок И. П. Елагина.

Елагин, бывший адъютант гр. А. Г. Разумовского, с приходом к власти Екатерины II становится кабинет-министром; помимо «приема челобитен», подававшихся на имя императрицы, ему поручается заведование театрами; это заставило его принять меры к расширению репертуара Российского театра путем переводов и переделок театральных пьес, пользовавшихся успехом на Западе.

Имея склонность к литературным занятиям, Елагин привлек к ним и своих молодых секретарей — Д. И. Фонвизина и В. И. Лукина, которые, помогая своему патрону, не только переводили, но и «склоняли чужие комедии на русские нравы».

Особенно усердно занялся этим Лукин. Однако судьба обошлась с ним несправедливо. В то время как о Фонвизине мы знаем довольно много, Лукин остался совсем в тени, а некоторые существенные вопросы, связанные с его литературной деятельностью, не получили освещения до нашего времени, несмотря на то, что роль его в развитии русской комедии и русского литературного языка не вызывает сомнения.

Литературное наследие Лукина невелико, он сам говорил о себе, что писал «комедии и прочее по склонности и во время, от должности остающееся». Однако своими произведениями он оставил по себе след и даже сейчас представляет для нас интерес, поскольку в его старательном «склонении на русские нравы» иностранных образцов есть значительные моменты творческой работы, характеризующие переводчика Лукина как писателя с оригинальной системой взглядов, литературных вкусов и приемов.

[1] Данные о морально-дидактической и «слезной» драме на русской сцене взяты из «Библиографического и хронологического указателя материалов по истории театра в России в XVII—XVIII веках» В. Всеволодского-Гернгросса (см.: Сборник историко-театральной секции, т. I, ст. 8. Пгр, 1918, стр. 1—71).

Впервые на Лукина обратил внимание А. Н. Пыпин, который в 1853 году напечатал о нем небольшое исследование,[2] а в 1868 году посвятил его творчеству вступительную статью в издании П. А. Ефремова «Сочинения и переводы В. И. Лукина и Б. Е. Ельчанинова».

Главный интерес Пыпина вызвали «предуведомления» Лукина к комедиям; в этих предисловиях он выступал с новаторскими для своего времени мыслями о назначении литературы, о ее задачах и необходимости создания национального театра. На самих же переводах исследователь почти не остановился. Не вызвали они должного внимания и у позднейших историков литературы.

Первый известный нам литературный опыт Лукина — перевод комедии Реньяра «Менехмы, или Близнецы» — относится к 1763 году. В следующем году появился в печати второй перевод Лукина — «Ревнивой, из заблуждения выведенной» (комедия Кампистрона «Le jaloux désabusé»); обе пьесы сразу же были представлены на придворном театре.

Одновременно с работой над драматическими произведениями Лукин переводил и прозу, в частности он продолжил начатый Елагиным перевод романа аббата Прево «Приключения Маркиза Г***, или жизнь благородного человека, оставившего свет».[3] Хотя имя Лукина не указано в издании, но в каталогах В. А. Плавильщикова (№ 4706) и В. С. Сопикова (№ 8981) оно значится при 5-й и 6-й частях романа; кроме того, при 5-й части есть посвящение Елагину от переводчика, в литературной манере которого можно легко узнать Лукина; об авторстве его свидетельствует и И. И. Дмитриев, в молодости зачитывавшийся этим произведением и ценивший его очень высоко, причем он упоминает о четырех «последних частях» романа, переведенных «секретарем Елагина В. И. Лукиным»,[4] т. е. относит к Лукину и перевод знаменитой повести «Приключения шевалье де Грие и Манон Леско» (7-я и 8-я части романа), которая на русском языке появилась лишь в 1790 году.

Перевод романа крупнейшего французского писателя первой половины XVIII века аббата Прево д'Экзиля «Приключения Маркиза Г***, или Жизнь благородного человека, оставившего свет», осуществленный в 1756—1765 годы, был одним из первых образцов литературной печатной прозы на русском языке и

[2] «Отечественные записки», 1853, №№ 8 и 9.

[3] Prevost d'Exile (abbé). Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Paris, 1728—1731.

[4] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь. М., 1866, стр. 95, прим. 1.

имел огромный успех не только в свое время, но и много лет спустя, судя по тому, как комически был обыгран И. А. Крыловым в комедии «Урок дочкам» романический образ Маркиза Глаголя, ставшего известным даже в кругу барских слуг.

Однако ошибочным было бы приписывать необычайную популярность этого произведения лишь его авантюрно-замысловатому сюжету. Достаточно внимательно прочитать посвящение и предисловие Елагина, которые он предпослал переводу первой части романа, чтобы понять, какими соображениями руководился переводчик при выборе оригинала и почему «покровитель» Елагина, граф А. Г. Разумовский, «поострил» его «к изданию в печать» этого произведения.

Маркиз Г***, в понимании автора перевода, — это человек, олицетворяющий «великодушие несказанное и терпение непоколебимое»: «Сии люди называются людьми великими... ничто не сводит их с пути, ведущего к добродетели». Цель автора — сообщить читателю «столько смешенного с разными приключениями в жизни сего Маркиза нравоучениями, сколько может так много в свете искусившийся разумный и ученый человек, каков оный Маркиз, для наставления другим дать».[5]

Этот труд в какой-то мере, в представлении Елагина, сближается по своему воспитательному значению с «Похождениями Телемака» Фенелона. «Я могу осмелиться, — пишет в конце своего обращения к читателю переводчик, — уподобить его ‹Маркиза Г***› божественному Мантору, вымышленному господином Фенелоном; и не погрешу, естьли его назову Мантором благородному человеку».[6]

В свое время и позже перевод Елагина считался «образцовым», за ним утвердилась слава мастера необыкновенно «текущего слога».[7] Действительно, роман этот читается довольно легко даже в наше время, несмотря на обилие архаизмов.

Со стороны передачи содержания перевод романа Прево на русский язык выполнен Елагиным и Лукиным добросовестно и возможно точно — чувствуется тонкое понимание языка подлинника, способность близко подойти к автору, вжиться в его мысли и чувства.

---

[5] См. «Приписание гр. А. Г. Разумовскому», предпосланное Елагиным переводу романа Прево «Приключения Маркиза Г***...» (см. наше прим. 8).

[6] См. там же предисловие Елагина «К читателю».

[7] См. характеристику Елагина-писателя в «Nachricht über einigen russischen Schriftstellern», изданном в 1768 году в Лейпциге.

И. И. Дмитриев также пишет о Елагине, что «перевод его по слогу долго считался образцовым» (Взгляд на мою жизнь, стр. 95, прим. 1).

Стилистическая же и языковая стороны перевода особенно для нас интересны: они чрезвычайно своеобразны и представляют значительный материал для наблюдений и выводов о становлении русского литературного языка в 50—60-е годы XVIII века. Мы займемся сначала особенностями елагинского перевода, чтобы затем сопоставить с ними язык и стиль Лукина.

Для Елагина характерна манера писать пространно, обширными предложениями, чаще сложноподчиненной конструкции, перегруженными различными оборотами, вводными словами, обращениями. При относительной легкости, слаженности слога, представляющего в общем тип литературно-светской речи, обращает на себя внимание наличие мирно уживающихся во фразе архаических моментов синтаксиса. Так, в елагинском переводе есть несколько случаев употребления конструкции «дательного самостоятельного», являвшегося уже в то время редкостью даже у сторонников «славяно-русского» языка: «и паче взбесился, услыша как Шежай с своими товарищами *мне, мимо идущему,* из всей силы смеялся»;[8] «*впустившему мне его перед себя* показались в самом деле черты лица его знакомыми» (ч. II, стр. 123); «Маркиз отдал *ему, мимоидущему,* низкий поклон» (ч. III, стр. 76); «я *идущему ему со мною* много раз повторял: паче всего, государь мой, не покажи слабости своей» (ч. IV, стр. 35).

Обычное явление в языке Елагина представляет и двойной винительный падеж: «Утешался он слушая *меня чтущa* письма и сатиры Горациевы» (ч. I, стр. 21); «*Идущих нас* от Князя Маркиз Тордо и другие молодые господа зазвали в женскую беседу» (ч. IV, стр. 61).

Несколько реже встречается двойной именительный: «*Будучи они люди,* говорил я ему, имеют такое же право наслаждаться покоем и удовольствием, как ты» (ч. III, стр. 24).

Архаичны и деепричастные обороты, в которых подлежащее ставится не в предложении, а в обороте — непосредственно *после* деепричастия: «Тогда, кликнув он меня, на едине мне говорил» (ч. II, стр. 20); «итак, вышед мы из церкви, сели с ним в его карету» (ч. III стр. 76). Впрочем, начиная с четвертой части романа, чаще замечается постановка подлежащего *перед* деепричастием или уже в основном предложении, но рядом по-

---

[8] <Без имени автора> Приключения Маркиза Г***, или Жизнь благородного человека, оставившего свет. Переведена на российский язык Иваном Елагиным. В Санктпетербурге при Императорской Академии наук, 1756, ч. I, стр. 63. (В дальнейшем все ссылки на I—IV части романа даются в тексте по этому изданию; здесь и дальше курсив наш, — *В. Г.*).

рой встречаем и старую форму. Может быть, Елагин старался все же упорядочить эту конструкцию, учитывая «наставления» в «Грамматике» и «Риторике» Ломоносова.

В управлении слов также видны следы архаики: «тем более *ненавижу жития* мирского»; «в начале сентября *присудствовали мы зрелищу*, смотрения достойному»; «они все *намерению* его *согласны были*» (ч. III, стр. 1, 70, 144).

Общий порядок слов в предложении у Елагина преимущественно инверсивный, узаконенный ломоносовской «Грамматикой»: сказуемое обычно поставлено в конце предложения, определение — после определяемого слова, дополнения же и обстоятельственные слова предшествуют тому слову, к которому относятся. Однако наряду с этим каноническим строем мы найдем и отступления.

Вот примеры елагинской конструкции: «Он будучи так же *нещастлив и уединен, как я, надеется в разделении печалей обрести* обоюдное горестей услаждение» (ч. I, стр. 50); «к удобию переправы нашей через стену взяли мы три стула с собою, которые, наконец, нам и безполезны были; ибо служанка показала мне лесницу, до самой вершины стены достизающую» (ч.I, стр. 85); «естественные его дарования и неусыпная прилежность так его прославили, что он до двадцати лет уже важнейшие суды в руках своих имел и удачливое их окончание знатно славу его умножало» (ч. III, стр. 38).

Эти особенности слога Елагина обращают на себя тем большее внимание, что они встречаются уже в первой части перевода, вышедшей в свет до появления «Российской грамматики» Ломоносова, т. е. свидетельствуют о независимости языковых и стилистических исканий Елагина от Ломоносова.

Морфологические особенности при спряжении и склонении слов также во многих случаях дополняют общую характеристику архаических черт языка елагинского перевода: именительный падеж множественного числа имен существительных среднего рода на *е* обычно еще не имеет нормализованного «Грамматикой» Ломоносова окончания *я*, но сохраняет *ии*: рассуждении (ч. I, стр. 7), изъяснении (ч. I, стр. 14), движении (ч. I, стр. 153), веселии (ч. II, стр. 18), чувствии (ч. III, стр. 124), прошении (ч. IV, стр. 170).

Именительный падеж множественного числа ряда имен существительных мужского рода не принимает еще приличествующего «обычным» словам, по Ломоносову, окончания *а*, аналогично со средним родом: «Верьте, гр. Алонзо Лудвиг... по вся *вечеры* видится с любовницею своею в саду» (ч. IV, стр. 113). Творительный падеж множественного числа имен существитель-

ных женского рода с мягкой основой имеет окончание *ьми*: учтивостьми (ч. III, стр. 4). Прилагательные и причастия женского рода в родительном падеже единственного числа оканчиваются на *ыя:* почитаемыя (ч. III, стр. 39), влиянныя (ч. IV, стр. 152).

Образование причастных и деепричастных форм в особенности носит славянский отпечаток: «уже *вообразуемое* нещастие смертию мне угрожало» (ч. II, стр. 29); «бежит в комнату твою, *дая* только волю негодной своей страсти» (ч. III, стр. 20). Интересны у Елагина аористные формы глагола, большей частью в контаминированном виде: «и меня отвесть туда хотех» (ч. I, стр. 40); «почувствовав рану, возопила она жалким голосом» (ч. II, стр. 6); «обещавал мне наиучтивейшими выражениями свое покровительство» (ч. III, стр. 4); «я оканчаваю повесть» (ч. IV, стр. 170).

Во всех этих случаях употребления Елагиным славянских морфологических форм критерий слога, так четко сформулированный в ломоносовской «Грамматике», играет минимальную роль.

Наблюдение над лексическим составом языка перевода Елагина также приводит нас к выводу, что славянизмы лишь изредка имеют у него стилистическую функцию, как например при передаче торжественной речи отца Маркиза Г***, уходящего в монастырь: «Бог да сохранит тебя от всех зол; и да излиет на тебя источник щедрыя своея благости» (ч. I, стр. 50). Обычно же славянизмы представляют собой слова в конкретном их значении, без какой-либо стилевой окраски: «Потщись, государь мой, я прошу тебя, призвать его ко мне» (ч. I, стр. 87); «человек, который в самом деле ради велеречия своего и несказанно доброй памяти за чрезвычайного мог почитаться» (ч. II, стр. 97); «отмщение властвует в Гишпании, подобно как и в Италии» (ч. III, стр. 37); «посмотри и воспомоществуй мне узнать точный разум сего письма» (ч. III, стр. 67); «она никогда приятнее влиянной им в грудь ея склонности ничего не чувствовала» (ч. III, стр. 67); «первагонадесять числа сего месяца... вышел указ, чтоб печальное ‹траурное› надевали платье» (ч. III, стр. 72); «еще в вечеру пиршество начало свое восприяло» (ч. III, стр. 149); «но вдруг лишився сил и купно с ними разума, упал на меня» (ч. IV, стр. 37).

Для лексики Елагина очень характерно употребление отглагольных существительных, образованных (нередко искусственно и, возможно, им самим) при помощи суффиксов *ани, ени* и *тель:* смотрение, ждание, потеряние, к разобранию, медление, убежание, к читанию, к данию («не принуждать меня к данию на то

своего слова» — ч. I, стр. 130), знателю[9] («много таких вещей в физике, которые незнающему народу чародейством покажутся, а оные прямому естества ‹природы› знателю ни мало чудны не будут» — ч. II, стр. 99), помешателей («но много было помешателей, которые так же, как и он, того чина домогались» — ч. III, стр. 37), любителя — в значении «обожателя» («вознамерился он туда идти убить любителя, а после пронзить сердце негодной своей любовницы» — ч. III, стр. 42).

Конечно, при отсутствии специального словаря русского языка XVIII века трудно судить, какие слова являются плодом творчества самого Елагина и какие были тогда в обращении. Однако, исследуя язык первых четырех частей романа, переведенных Елагиным, мы нашли свыше ста слов, изменивших в настоящее время свое значение или вовсе вышедших из обихода, например: «Предприятие твое важно, продолжал я постоянным ‹уверенным› голосом» (ч. I, стр. 151; ч. III, стр. 35, 60; ч. IV, стр. 35, 65); «Мы сидели спокойно, как нечаянное вступление ‹явление› глаза наши на себя обратило» (ч. IV, стр. 91).

Впрочем, язык Елагина не отличается однородностью или преобладанием архаических черт: особенностью его является одновременное употребление как устаревших уже для той эпохи славянизмов (лексических и синтаксических), так и выражений, оборотов живой разговорной речи, вплоть до просторечных форм. Такая неровность слога, вероятно, и была целью, совершенно сознательно поставленной Елагиным перед собой как писателем.

Ему не под силу еще было добиться органического слияния различных слоев речевого потока, составляющих литературный язык, но тяга его к смелому введению в литературный оборот экспрессивных, живых форм устной речи была новаторством и свидетельствовала об осознанном стремлении к расширению основ русского литературного языка не только в «низких» жанрах, как то допускалось «наставлениями» Ломоносова, но и в области печатной литературной прозы, делавшей на русской почве свои первые шаги.

Это звучание устной, разговорной речи и придает елагинскому стилю рассказа «текучесть», т. е. плавность, непринужденность, которая так привлекала одних и возмущала других, враждебно настроенных к нему писателей.

Приведем примеры, отражающие попытки Елагина расцветить свой язык элементами живой речи, тяготеющей к просторечному слою.

---

[9] Это слово значится в «Лексиконе треязычном» Ф. Поликарпова (М., 1704, стр. 125об.).

Такие слова и выражения, как «*замерзелый* человек» (ч. I, стр. 112), «умел посредственный *сплести* стишок» (ч. III, стр. 14), «Маркиз смеялся *надутому* вздору кастилианских учтивостей» (ч. III, стр. 26), «оно *сумазбродно*» (ч. III, стр. 50), «*авось либо* нам там удастся кого-нибудь обмануть» (ч. III, стр. 141), «между знатными людьми *мешаться*» (там же), сразу снижают высокий строй славянизмов и делают прозу Елагина более естественной, доходчивой.

Сплошь и рядом эти разговорные слова имеют явно просторечный оттенок, особенно в глагольных формах: «*бирали* от него для чтения книги» (ч. I, стр. 60), «особливо *гуливали* мы в зверинце» (там же), «*уйтить* и с любовницею в Голландию» (ч. II, стр. 50), «не хотят *рушить* своих утех сожалением» (ч. II, стр. 115), «были от всех знатных людей с удовольствием *приниманы*» (ч. I, стр. 19), «так ты хотела *окрасть* господина Маркиза» (ч. III, стр. 18), «*спознавайся* заблаговременно с такою добродетелию» (ч. III, стр. 73), «*похочет* быть твоею наложницею» (ч. III, стр. 89), «я *припамятовал* ему» (ч. III, стр. 132).

Именные слова также изобилуют просторечными формами: «во весь лошадиной *скак* скачуща верьхом на нем» (ч. I, стр. 124); «*прошибкою* Серескира» (ч. I, стр. 157); «*зачнет* ли сам Маркиз о *ночешнем* приключении говорить со мною» (ч. III, стр. 19); «*без сердца* приняв мое поучение» (ч. III, стр. 63); «*окончав* мы свое *гульбище*, благодарили господина Инига» (ч. III, стр. 66); «первое случившееся при дворе моем *порожжее* место» (ч. IV, стр. 127); «*оставшую* часть дня препроводили мы, гуляя по садам и рощам» (ч. IV, стр. 66).

Наречия особенно устойчиво носят народный характер: «едучи *пешь*» (ч. I, стр. 77); «*всюды* ходили с нами» (ч. III, стр. 65); «ни *вполы* того не делаю для тебя, чего ты достоин» (ч. III, стр. 120); «уже *поздо* было (ч. IV, стр. 151).

В некоторых случаях просторечные слова окрашены особенно резко — они звучат как вульгаризмы, хотя, возможно, для своего времени они и не имели такого оттенка: «Она *дура*, ответствовала я, надобно ея оставить» (ч. III стр. 17); «ходили они из дому и *таскались* часа по три с *шайкою* музыкантов по улицам Мадритским» (ч. III, стр. 156); «услышал, что мать Дона Пастрина *баба кровожаждущая*... смерть сына ея *надула* ее совершенно адскою яростию» (ч. II, стр. 177); «но он... в смущении своем мне не ответствуя, сквозь всех *продрался*» (ч. IV, стр. 14).

Фразеология Елагина также подтверждает стремление его писать экспрессивным, близким к разговорному языком. Можно привести множество примеров, но мы ограничимся лишь не-

сколькими: «Я принужден был обещать Герцогу, что *я к нему буду*» (ч. III стр. 4); «Я слышал, любезный Маркиз, что *тебе не только легче нет*, но и *час от часу* хуже становится» (ч. IV, стр. 176); «*Признаваюсь я*, что при наименовании сего злодея *волосы у меня дыбом стали*» (ч. III, стр. 147); «в состоянии ли я в толь ужасном смущении *о чем ни есть* рассуждать» (ч. III, стр. 44).

Заметим, что поток разговорных, принятых в живой речи слов и выражений особенно усиливается в переводе, начиная 3-й и 4-й частей романа, из чего можно заключить, что этот прием был заданной, нарочито поставленной перед собой целью Елагина.

Вполне естественно, что при такой настойчивой тенденции к народной окраске речи у Елагина крайне редки варваризмы: они в большинстве случаев перенесены из оригинала (педант, матрозы, каюта, полицемейстер, фурии, штофы). Из самостоятельно употребленных им варваризмов можно указать лишь три: кантору, характир, в шлафроке.

Примечательно также часто встречающееся в переводе слово «тронут» (ч. III, стр. 104; ч. IV, стр. 133, 152, 165), причем без какого-либо оттенка калькирования с французского; очевидно, оно бытовало в русском разговорном языке задолго до Карамзина, которому обычно приписывается «изобретение» многих русских слов путем этимологического и морфологического образования, аналогичного с французским языком, в частности и этого (toucher — трогать).

Мы остановились достаточно подробно на анализе особенностей, отличающих перевод Елагина; теперь перейдем к его верному ученику в литературном деле Лукину, который с поразительной чуткостью усвоил круг интересов, направленность мыслей и манеру писать, отличавшие «покровителя».

Несомненно, и для него роман «Приключения Маркиза Г ***...» был не просто занимательным чтением, но и источником, откуда можно было почерпнуть морализующие наставления о любви и о дружбе, интереснейшие сведения о чужих странах, описанные во всех подробностях факты истории и быта, критические отзывы о популярных писателях и произведениях иностранной литературы. Именно так воспринимал его позже и И. И. Дмитриев, который возмущался, что «в журналах 1825 года... роман сей переименован Маркизом Глаголем и выставлен наравне с Принцем Георгом или Герионом известною с давних времен площадною сказкою». Он писал: «По этой книге я получил первое понятие о французской литературе. Читая, помнится мне, в третьем томе, описание ученой вечеринки, на

которую молодой Маркиз и наставник его приглашены были в Мадрите, в первый раз я услышал имена Мольера, Буало, Лопе-де-Вега, Расина и Кальдерона, критическое об них суждение и захотел узнать и самые их сочинения; этому же роману обязан я и тем, что начал понимать и французские книги... Чтение романов не имело вредного влияния на мою нравственность. Смею даже сказать, что они были для меня антидотом ‹противоядием› противу всего низкого и порочного. „Похождения Клевеленда", „Приключения Маркиза Г***..." возвышали душу мою. Я всегда пленялся добрыми примерами и охотно желал им следовать».[10]

Вероятно, нравился Лукину и несколько свободный тон суждений автора о дворянстве, о поверхностном воспитании аристократической молодежи, о лицемерной угодливости при дворе, «ибо при нем все ухищренно и притворно». Из этого источника мог он почерпнуть и убедительно, настойчиво высказанное там мнение о назначении литературы, которая должна давать «правила и примеры доброго поведения», но не в виде нравоучения, а в «нескучной для чтения книге», ибо «свет не терпит сухих и школьных разговоров, которые необходимо в такие поучения врезываются».

Продолжая труд Елагина по переводу романа на русский язык, Лукин вполне воспринял и слог елагинского повествования: основой его стилевой манеры также являются мирно соседствующие два речевых потока — книжно-славянский и устно-разговорный, без какой-либо тени намеренного стилистического контраста или иронии при использовании их.

Внешне создается впечатление, что приемы построения фразы, лексика, фразеология у Лукина — все копирует Елагина. И только внимательный анализ текста позволяет уловить в V и VI частях романа[11] признаки и черты, характерные именно для Лукина: он вырос всецело на елагинской почве, но уже с первых шагов самостоятельной работы проявил и свои индивидуальные особенности, отличающие его от образца, которому он стремился следовать.

При чтении перевода Лукина останавливает на себе внимание фоника текста, о которой мы не упоминали, говоря о Елагине, так как в этом отношении он почти не выходит за рамки

---

[10] И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, стр. 15, 95, прим. 1.

[11] ‹Без имени автора› Приключения Маркиза Г***, или Жизнь благородного человека, оставившего свет. Переведена с французского языка. V и VI части. Вторым тиснением. В Санктпетербурге при Императорской Академии наук. 1793. (В дальнейшем все ссылки на V и VI части романа даются в тексте по этому изданию).

произносительной нормы языка своего времени. Не то — у Лукина. Сразу бросается в глаза, что согласные обычно звучат у него твердо, не палатализуются (роскошъ); это особенно резко выступает в постоянном озвончении звуков с и *т:* збирается, зделать, изключая, прозьбы (прозбами), збережения, разпечатал, возмется, присудствовать, «опрядно одеты были». Однако в сочетаниях *рв, рк, бв, ск* мягкость первого согласного звука даже подчеркнута мягким знаком или же глухим с вместо коренного *з:* «перьвое и самое необходимое», «да сверьх того», «для пустой к нему любьви», «поклонилась ниско», «весьма блиско того времени». Звук г порой звучит, как фрикативный (h): «если бы ты хотя немного умяхчился». Неударное *о* близко к *у:* «безсумненно вразумляли меня», «сие убязуемое усердие». В написании слов «обвертки» и «изъящный» Лукин следует этимологическому принципу, а не фонетическому.

Хотя эти наблюденные нами особенности орфоэпии не повторяются систематически в тексте перевода, но они все же определенно окрашивают речь Лукина южнорусскими приметами.

Морфологические черты елагинского языка были прочно усвоены и Лукиным. Он также упорно придерживается отвергнутой Ломоносовым формы имен существительных во множественном числе с окончанием *ии,* притом абсолютно не учитывая стилевой функции слов: представлении, желании, путешествии, попечении, погрешении, волновании, предсказании, здании.

Обычны у него и формы именительного падежа типа: домы, голосы, безпокойствы, бездельствы; окончание *а* можно встретить только в словах просторечной огласовки («большие Аглинские бояра», «Агличана называют их»), но это, однако, ничуть не связано с «низостью» слога самого рассказа.

Изредка встречается старославянская форма дательного падежа имени существительного во множественном числе: «Теперь ни одной минуты не останусь неключимым ‹нерешительным›, *пороком* ли повиноваться или моей должности ‹долгу›», но рядом в родительном падеже множественного числа имен существительных встречаем и просторечное окончание *ев, ов*: приключениев, следствиев, заразов ‹прелестей›.

В именах прилагательных остается в полной силе излюбленная Елагиным архаическая форма окончания родительного падежа женского рода *ыя* в единственном числе: «несносныя своея печали». Но здесь же, рядом, в именительном падеже вместо книжного окончания *ый, ий* Лукин почти всегда пользуется просторечным *ой* с редуцированным гласным; впрочем, при этой несомненно выраженной тенденции, можем встретить у него и разнобой, даже в пределах одного предложения, объясняемый, оче-

видно, тонким различением глаголов русских («удручать») и славянских («утомить»): «шестидесятилетной старик, удрученной нещастиями и утомленный бременем претяжких безпокойств» (ч. V, стр. 29).

По сравнению с Елагиным у Лукина замечается большое пристрастие к просторечной форме сравнительной степени имен прилагательных, также неодобренной ломоносовской «Грамматикой»: «На что поступать справедливее, честняе, верняе, бесприбыточнее тех» (ч. V, стр. 47). На этом примере ясно можно видеть, что просторечная форма появлялась под ударением, а в безударном положении оставался суффикс книжно-литературной формы — *ее*.

Обычно у Лукина и просторечное образование имен прилагательных притяжательных: «покойниковы богатства», «Бароновы прошении».

Из глагольных форм вовсе отсутствует аорист, но славянская форма краткого причастия с удвоенным *н* в суффиксе преобладает: «каким чувством я к тебе напоенна», «глаза мои омоченны слезами».

Изредка появляются в лукинском языке морфологические формы, свойственные южным говорам, они имеют характер обмолвок: «здравой *корки* ‹дательный падеж› дерев» (ч. V, стр. 20); «в грубианстве *погрузлая* его душа» (ч. VI, стр. 66).

Синтаксис Лукина еще более «замысловат», чем у Елагина: он не затрудняется в составлении сложнейших периодов, причем самый характер, тон повествования заметно отходит от галантно-звучной, хотя и уснащенной славянизмами речи Елагина, и приобретает скорее приказно-канцелярскую витиеватость, не теряя, впрочем, логически выверенной слаженности.

Вот примеры лукинского слога: «Но не кончивая повествования о сем чудном приключении, долженствую я предуведомить читателя о некоторых обстоятельствах, кои удивить его могут» (ч. V, стр. 25); «Но понеже всяк знал, что то был Король, то ответ его в миг всюду разнесся, и слава похвалами и плеском ‹рукоплесканием› преисполнилась» (ч. V, стр. 61).

Из обильных у Елагина архаических конструкций в тексте Лукина изредка можно встретить лишь двойной винительный падеж: «Мы видели его плачуща»; «наконец, увидела я его в пятый день к нам пришедшего». Еще реже — двойной именительный: «Госпожа Дублет, будучи женщина добродетельная и целомудрая, отнюдь не довольна была толь чрезмерною щедростию».

Дательного самостоятельного у Лукина уже нет. Впрочем, нам встретился один оборот, пожалуй, скорее представляющий собой искаженный дательный самостоятельный, чем галлицизм:

«Вошедши в комедию не прошло еще и получаса, как, подступя к Маркизу, незнакомой слуга сказал» (ч. V, стр. 71).

Деепричастные обороты сравнительно с елагинскими значительно модернизированы: «он пошел, объявив необходимую отлучке своей нужду»; «я удивился, приметя изображенную на лице ея печаль», причем не видно, чтобы Лукин следовал ломоносовской «Грамматике», рекомендовавшей ставить «деепричастие с падежами» в начале предложения.

Изредка наблюдается у Лукина и старинная, елагинская конструкция: «Напоследок, не могши она представить толь шуточного лица, просила Маркиза, чтоб он пожаловал к ней в назначенной дом».

Инверсивного расположения слов в предложении Лукин придерживается даже с большей последовательностью, чем его наставник; канцелярская выучка его сказалась здесь особенно явно: «Паче всего печаль моя умножалась тем, когда я некоторые выражении приметил, кои безсумненно вразумляли меня, что сие ему открытие племянницею моею учинено» (ч. V, стр. 22).

Но если, несмотря на некоторые попытки Лукина к освобождению от архаизмов в языке, общий характер слога все же сближает обоих переводчиков, то в области лексики и фразеологии ученик оказался гораздо радикальнее своего учителя, еще более настойчиво стремясь к русификации и демократизации речи.

Славянизмы есть, конечно, и у Лукина, но это скорее уже реликты славянских форм, сросшиеся с разговорной речью или, во многих случаях, обусловленные приказным стилем лукинской фразы: «уповаешь ли ты, любезный Маркиз»; «долженствую я предуведомить читателя о некоторых обстоятельствах, кои удивить его могут» (ч. V, стр. 25); «не учинишь ли меня жестокостию своею еще злополучнее того, как я уже частью ‹судьбою› моею приведенна» (ч. V, стр. 28).

Заметно, что во многих случаях Лукин явно старается избежать славянизмов, обычных для Елагина, у него находим: «который принял за благо» — вместо «за благо рассудил»; «раздавала избыточественно» — вместо «щедро»; «на одине» — вместо «на едине»; «известился о его тайне» — вместо «таинстве»; «одним днем» — вместо «однажды»; «корабельная пристань» — вместо «пристанище»; «показалось еще новое явление» — вместо «вступление»; «перервать», «перемена», «середина дня» — вместо соответствующих славянских неполногласных форм.

Интересны варваризмы у Лукина. Помимо иноязычных слов, которые были широко известны в его время (кабинет, маскарад, махина ‹машина›, характер, амфитеатр, артиллерийский док, баталия, контора), замечаем у него и здесь неизменную тенденцию

к русификации: «голоса сих контротанцев ‹contredanses›» и, что очень характерно, пристрастие к полонизмам и украинизмам: «мы нашли *связь* ‹избу›, только в трех комнатах состоящую» (ч. V, стр. 86); «на все *позволяю*» (ч. V, стр. 24); «женщина, красавицею в Англии почитаемая, есть *тварь* ‹существо› безпрекословно божественная» (ч. V, стр. 63); «почитал я себя не столь *винным*» (ч. V, стр. 80, 92); «ты сам себе *не подобен*» (ч. V, стр. 135); «таковыя мяса весьма *не смачны*» (ч. V, стр. 127); «слава похвалами и *плеском* преисполнилась» (ч. V, стр. 61); «обе стороны *споровались*» (ч. V, стр. 142); «*приниманы* были в лучших Лондонских беседах» (ч. V, стр. 40); «отошедши с ним в *скромное* ‹укромное› место» (ч. V, стр. 56); «свое *казанье* ‹поучение› ему прочел» (ч. V, стр. 65); «пользуясь *спутным* ‹попутным› течением воды» (ч. V, стр. 6); «*не за давно* перед тем» (ч. VI, стр. 11); «что касается до *прибору* ‹подбора› явлений» (ч. V, стр. 42).

Наряду с очень обычными для Лукина, так же как и для Елагина, отглагольными существительными с суффиксами *ени, ани, тель, ств, ость* (грызение, волнование, бездельства, изрядство, суровство, вертопрашествы, поверенность, запалчивость, услужность), можно указать на ряд слов, которые, возможно, были введены в оборот им самим: «горячность его к игре *простудилась* ‹остыла›»; «каменная *подошва* ‹мостовая› древних его улиц»; «велик, прекрасен и *многонароден* ‹многолюден›»; «*унарожен* ‹населен› одними только бедными»; «в душе моей *волновании* ‹волнения›»; «приступаем мы... к весьма *колкому* делу»; «не хотел он более о *разбогащении* близких стараться».

Что же касается лукинских словечек, за которые впоследствии подвергался он стольким издевательствам со стороны своих литературных недоброжелателей, то они, собственно, принадлежат не ему, а Елагину, что можно подтвердить соответствующими ссылками на текст: «что ни есть» — вместо «что-нибудь» (ч. III, стр. 44); «прямо» — вместо «действительно» (ч. III, стр. 112, 120, 163); «без закрытия» (ч. II, стр. 4); «признаваюсь» (ч. III, стр. 184); «не отрицаюсь» (ч. IV, стр. 33, 68); «прошибка» — вместо «ошибка» (ч. I, стр. 135, 157).

Останавливаясь на лексическом и фразеологическом составе текста Лукина, мы касаемся самого главного, что составляет его новаторство в расширении языковых средств. Елагин начал, а Лукин смело продолжил и усилил введение в литературный язык среднего слога самых простых разговорных и просторечных слов и выражений, что и вызвало против него впоследствии такую травлю, обвинения в приверженности к «подлости».

Примеры просторечия в переводе Лукина выразительнее, грубее, ближе к народной основе, чем у Елагина: «Снизшел он в сию *срамоту*»; «*гульбища* бывают»; «несколько выше по *косогору*»; «по неотступной Маркизовой *докуке*»; «из *заужины* притворясь нездоровою»; «совершенным *прошлецом* показался»; «сия издевка Маркизу была *ненравна*»; «он человек чрезвычайно *непригожей*»; «носильщик был *детина* сильной и *забиячной*»; «почитал себя *одинаким* ‹единственным› и спокойным обладателем»; «с хозяйкою своею *бранивался*»; «*бесится* проигравши»; «народ *прилипал* ко всем смятениям»; «в скорости *опамятовался*»; «*навяжут ее на нашу шею*»; «к отсечению *одним махом* руки или ноги»; «*в последние* с нею простившись»; «уж *на вечер*»; «*поздо* думать».

Пожалуй, к просторечным фразеологическим особенностям надо отнести и излюбленную Лукиным уступительную конструкцию с частицами *ли* и *либо*: «И сей вольности, как ли она не умеренна, для них вовсе чинить не надлежало» (ч. VI, стр. 21); «И как ли бы она себя ни повела, однако зделать долженствует» (ч. VI, стр. 31).

Отметим, наконец, еще одну черту перевода Лукина: слог его гораздо экспрессивнее, чем у Елагина, несмотря на меньшую «занимательность» текста 5-й и 6-й частей романа и на то, что он не допускал никаких «вольностей» и вставок, а следовал точно оригиналу. Елагин же, напротив, делал и купюры (в 4-й части он, например, решил опустить «сказанные от гишпанцев нелепые о чародействе сказки», которыми можно «других, особливо в естестве ‹природе› не знающих, неправильным понятием заразить»). Во многих местах, касающихся иностранной литературы, Елагин делает свои замечания: «О Расине смотри в примечаниях господина Сумарокова к его Епистолам»; то же — о «Корнелии», «Лопе» и грациях, «подругах Венериных».

Лукин, повторяем, строго придерживался подлинника, однако сумел вложить в свой перевод больше чувства, особенно в тех местах, которые, видимо, были ему близки по теме. В его тексте нередко ощущается волнение, которое передается и читателю; это следует признать немалой заслугой писателя, являвшегося лишь истолкователем чужого произведения.

В 5-й и 6-й частях романа Прево излагаются главным образом не романические похождения героев, а политические события и настроения в Англии в начале XVIII века в связи с шотландским «возмущеньем», а также даются некоторые моменты истории европейских народов, характеристика их искусства.

По приподнятому тону перевода нетрудно угадать в Лукине человека, разделявшего либеральные оценки и симпатии Прево д'Экзиля: «Хотя надежда сего нещастнаго Князя при Престоне и изчезла и приставшие к нему совершенно разогнаны и истреблены были, однако ж не сумневаюсь, что не только в Шотландии, но и в самом Лондоне и во всех Аглинских провинциях есть еще много людей, правлением недовольных... Граф был человек всеми любимый, так что и в подлости ‹ простом народе› великое множество усердных к себе имел... Постоянство и спокойный вид их казался мне прямым геройством, а о справедливости их дел остается разсуждать безпристрастному небу» (ч. V, стр. 9—12).

Живая заинтересованность чувствуется и в передаче рассуждений автора об английской драме, о театре и его трагической силе, которая «проникает до глубины сердца и, трогая его, непременно в самой сонной душе чувствительность возбуждает».

Очень экспрессивные выражения находит Лукин, осуждая, вслед за Прево, игорные дома и живущих в «неистовстве» ‹разврате› «женщин вредныя добродетели»

В рассказе же о народных «гульбищах» мы чувствуем настойчивое стремление демократически настроенного переводчика описать их как заслуживающее внимания проявление «аглинския вольности»: «Вольно там каждому гулять, что представляет чудное в красные ‹праздничные› дни зрелище; ибо видно там в непорядке смешенный из преизъящного благородства перьвых придворных господ и самыя ниския подлости народ. Таков есть вкус Англии; сие то они почитают частию того, что своею вольностию имянуют» (ч. V, стр. 66).

Но наивысшего пафоса достигает Лукин, говоря о лицемерном поведении людей при дворе. Эта тема, очевидно, вызывала в нем слишком явные ассоциации; он пишет почти стихами:

Какое странное общество при дворе!
Где верность без стыда изменна всякой час,
Какое странное жилище там для нас!

«Можешь ли ты, притворствуя являть, будто служишь тем, коих погубить стараешься? Вот как искусный при дворе господин непрестанно поступать долженствует!

«...Сказывают, что достоинства придворного человека суть такие, чтоб уметь угождать, похвалять, ласкать и притворяться... На что поступать справедливее, честняе, верняе и безприбыточнее тех, с коими в обществе жить должно?.. Не будет ли откровенна ‹открыта› грудь к получению непристанных от них ударов?» (ч. V, стр. 46—47).

В этой тираде звучит не спокойный, бесстрастный голос переводчика, а вопль возмущенного очевидца или потерпевшего.

К каким же выводам приводит нас анализ перевода романа Прево, выполненного Елагиным и Лукиным?

Работа их была, безусловно, значительным фактом для своего времени, так как явилась одной из первых попыток к созданию печатной литературной прозы на русском языке. У обоих переводчиков видно стремление не столько сохранить и передать средствами родного языка все неповторимые особенности художественного произведения иностранной литературы, сколько довести до русского читателя увлекательный и интересный материал романа. Если для Елагина писательский труд был просто занятием, то для Лукина работа над романом явилась своего рода школой: занимательное и не лишенное критической интонации повествование многострадального Маркиза не только *расширило круг интересов переводчика, но и определило* в какой-то мере его задачи в области дальнейшей литературной работы, возбудило стремление изображать то, что «весьма близко к естеству и истинне».

Метод переводческой работы Елагина и Лукина в основном является строгим, последовательным, особенно это характеризует, как мы показали, работу Лукина, хотя в иных местах, затрагивающих его внимание сильно, мы находим несколько субъективную, подчеркнуто экспрессивно выраженную передачу текста оригинала.

Говоря о «строительном материале» при переводе произведения, т. е. о языке, надо признать, что в этом отношении Елагин и Лукин действовали свободно, не заботясь о том, чтобы найти средства к точной передаче особенностей языка оригинала в смысле своеобразия синтаксической структуры, грамматических примет, идиоматических выражений, системы образов. Русских переводчиков, по-видимому, больше занимала проблема становления языка национальной русской прозы, путь ее дальнейшего развития. И если язык первых четырех частей романа, переведенных Елагиным, можно назвать славяно-русским, то язык Лукина — это скорее уже русско-славянский язык, структурной основой которого служит не церковно-книжная речь, а стихия устного, разговорного языка, обильно расцвеченного просторечием, причем наличие в нем черт южнорусского произношения и такой же фразеологии позволяет сделать предположение, что сам Лукин был южнорусского происхождения.

Несомненно, что Лукин значительно усилил тенденцию Елагина к расширению места для русской разговорной речи в литературе. У него больше, чем у Елагина, заметно стремление

сгладить грани высокого, посредственного и низкого «штилей», смешать морфологические различия имен, глаголов, которые были разграничены Ломоносовым по стилистическому признаку, допустить в прозу бытовой язык и даже «подлые», «низкие» слова, т. е. экспрессивно окрашенные народные элементы.

Вместе с тем это нарушение границ стилей и возникновение новых структурных форм высокого и среднего слога, не укладывавшихся в установленные нормы, было, вероятно, обусловлено и характером французского оригинала, он толкал на это переводчиков: «...трудно было подыскивать фразеологические эквиваленты семантике западноевропейских языков в условно-метафорической, церковно-книжной структуре высокого слога».[12]

Сама жизнь требовала упрощения и, следовательно, «обрусения» русского языка — в этом процессе Елагин и Лукин были пионерами. Лишь в области синтаксиса находились они еще в плену старой литературной традиции, связанной с формами латинско-немецкого периода и церковно-книжной риторики, у Лукина же закрепившейся практикой его канцелярской службы. Однако и здесь мы видим порой намечающуюся эволюцию Лукина в сторону более простой конструкции, теряющей архаические признаки.

Все эти «вольности» и стремление найти какие-то пути к нормализации русского литературного языка, часто помимо и даже вопреки «Грамматике» и «Риторике» Ломоносова, объясняются отчасти и тем, что Елагин принадлежал не к ломоносовской, а к сумароковской группировке в спорах о языке. Может быть, именно о Елагине писал Ломоносов в 1758 г. Президенту Академии наук, выражая сожаление о том, что нет при этом авторитетном учреждении «Российского собрания», «где б обще исправлять грубые погрешности тех, которые по своей *упрямке* худые употребления в языке вводят».[13] С еще большим основанием мог он восставать против смелых дерзаний в переводе Лукина.

Новизна приемов, примененных в переводе повествовательной прозы, особенно же энергичное и плодотворное решение сделать структурной основой литературного языка устную народную речь, — характеризуют И. П. Елагина и В. И. Лукина как писателей, наметивших для себя новаторскую по тому времени и правильную линию демократизации и развития национальных основ русского литературного языка.

---

[12] В. В. Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. Изд. АН СССР, М., 1938, стр. 123.

[13] М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 10. Изд. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 26.